

3. Сочинения Константина Масальского. Санкт–Петербург. Пять частей. В тип. В. Соломона, военно–учебных заведений, К. Жернакова. 1843, 1844, 1845. В 12–ю д. л. В I–й части 453, во II–й — 230, в III–й — 262, в IV–й — 216 стр.<sup>1</sup>

Давно известная истина: *ничто не ново под луною*<sup>2</sup> — ничем так не подтверждается, как страстию стариков хвалить всё старое и бранить всё новое и страстию молодых восхищаться всем новым и смеяться над всем старым. Эта страсть современна миру и человечеству; она всегда была и всегда будет, потому что она в натуре человека, потому что она естественна, как склонность больных и несчастных всё видеть в мрачном свете и склонность здоровых и счастливых всё видеть в радужном свете. Старость стоит болезни и несчастья так же, как молодость стоит здоровья и счастья; по крайней мере, по большей части, и только за редкими исключениями, старость и несчастье,

молодость и счастье — синонимы. Каждый человек — больше или меньше эгоист по своей натуре: обо всем, что до него касается, и обо всем, что до него не касается, он судит по отношению к самому себе. Здоровый, он, видя больных, как будто удивляется, что можно быть больным; счастливый, он как будто думает, что все должны быть счастливы; больной, он оскорбляется видом здоровья; несчастный, он готов видеть насмешку над собою во всем, что дышит счастьем... Молодость есть лучшее время жизни каждого человека, так же, как старость худшее: это аксиома. Ни обольщения сухого и мелкого честолюбия, ни приманки блестящих почестей, ни богатство, ни роскошь в старости — ничто не заменит мечтаний, надежд, упоений и даже горестей страстной, живой, увлекающейся, гордой собою, сильной и отважной юности! Удивительно ли, что всё хорошее старики относят к своему времени? Эгоисты поневоле, они думают, что для всех

должно казаться прекрасным только то, что было действительно прекрасно для них, что всех должно тешить и обманывать только то, что тешило и обманывало их, — как будто бы мир ими начался, ими и должен кончиться, — как будто бы молодые поколения обязаны жить их жизнью, видеть их глазами, понимать их умом, и этим самым сознаться, что напрасно природа дала им и глаза и ум и напрасно призваны они к жизни! Когда же старцы замечают, наконец, что у молодых поколений есть свои глаза и свой ум, свои радости и свои горести, свои понятия и свои убеждения, которые не совсем похожи, а иногда и вовсе не похожи на радости и горести, на понятия и убеждения их, старцев, — тогда они видят в людях молодого поколения апостатов,<sup>1</sup> еретиков, чуть-чуть не бунтовщиков. И тогда-то градом сыплются на молодые поколения упреки в безнравственности, в вольнодумстве, в самонадеянности; клюка старческой морали грозит ослушникам,

беспреданно выпадаю из слабых рук; рекою льются из дрожащих уст старческие поучения, прерываемые кашлем и... смехом новых поколений... С своей стороны, новые поколения бывают подвержены своей слабости — видеть всё прекрасное, умное, достойное удивления только в новом и современном, ожидать чудес только от будущего, а на старое и прошедшее смотреть с равнодушием и даже с насмешкою. Но, видно, обе эти крайности равно неизбежны; однако ж нельзя не согласиться, что гораздо больше справедливости на стороне молодых поколений даже и тогда, когда они явно несправедливы, — потому что сам дух жизни, ведущий человечество, всегда на стороне нового против старого, потому что без этого исключительного и одностороннего стремления всегда к новому, всегда к будущему не было бы никакого движения, никакого хода вперед, не было бы прогресса, истории, жизни, и человечество превратилось бы в огромное стадо диких животных... Для того и не

вечен человек, для того и должен он стареть, дряхлеть и умирать, для того и сменяется одно поколение другим, — словом, люди умирают для того, чтоб жило человечество. Смерть есть великое орудие, великая опора жизни... У новых поколений бывают вожди, которые ведут их по пути развития; но самодеятельная сила развития до того присуща самой натуре человека, что развитие обществ совершается даже и тогда, когда не является новых вождей. Это делается очень просто: бог знает, как и почему, но только у нового поколения являются новые вкусы, склонности, понятия, каких не было у старого, хотя это старое поколение, воспитывая новое, больше всего старалось сделать его похожим на себя, как две капли воды... Этот род прогресса самый прочный и несокрушимый и неодолимый: против него нет никаких мер; в отношении к старым поколениям, он — враг тем более страшный, что невидим, на него нельзя указать, его

нельзя разить; он не лицо, не образ: он — дух, он в воздухе, в воде, в пище; ему равно служат и те, которые любят его, и те, которые ненавидят; для него всё средство к успеху, — даже моды на платья, на мебель... потому что у китайцев не существует даже мод; но зато у китайцев нет молодых поколений: каждый человек делается там стариком, лишь только успеет родиться...<sup>1</sup>

Самолюбие играет большую (и чуть ли даже не главную) роль в нерасположении стариков ко всему новому. Видя, что всё на свете идет и делается не так, как бы им хотелось, не так, как всё шло и делалось в их время, старики *обижаются* и говорят юношам: «Что же, мы глупее вас, а вы умнее нас? Разве мы затем прожили век свой, набирались уму–разуму, богатели мудрою опытностью, чтоб на старости лет неопытные мальчики вздумали учить нас?» Люди молодого поколения должны были бы отвечать на это старикам: «Каждый из нас, отдельно взятый, может быть менее опытен

и мудр, нежели каждый из вас, отдельно взятый; но наше молодое поколение и опытнее и мудрее вашего, потому что оно старше вашего и к вашей опытности приложило свою собственную». Но, к сожалению, молодые люди так же имеют свои *молодые* слабости и недостатки, как старые люди имеют свои *старые* слабости и недостатки, — и почти каждый юноша готов смотреть на старика, как на ребенка, а на себя, как на возрастного человека, не понимая, что вся его заслуга и всё преимущество перед стариком состоит только в том, что он позже его родился, и что это ведь совсем не заслуга... Итак, было бы несправедливо утверждать, что старики всегда неправы в отношении к молодым, а молодые всегда правы в отношении к старикам. Но борьба между ними не прекращается ни на минуту, и одно время решает без лицепрятия, кто прав, кто виноват, хотя немногие доживают до решения своей тяжбы, и старики по большей части умирают с убеждением, что они правы, что их тяжба выиграна и что

горе новому поколению, которое пошло своею новою дорогою... Как бы то ни было, только самолюбие играет чуть ли не главную роль в этой вечной распре. Это особенно заметно в умственных сферах, в которых борьба сильнее и живее, как, например, в сфере литературной. Здесь самолюбие действует тем сильнее, что вопрос идет не об одной физической старости, не об одной физической смерти, но о старости и смерти нравственной, смерти заживо. В лета молодости способности человека деятельны и живы, душа его восприимчива для впечатлений; в лета возмужалости впечатления молодости делаются, так сказать, нравственным капиталом человека, процентами с которого он живет и в старости. Большею частию люди совершенно определяются в тридцать лет и считают за истинное и прекрасное только то, что успели признать они истинным и прекрасным до тридцатилетнего возраста их жизни, под влиянием своих первых

впечатлений, и не признают никакой истины, которая явится, когда они перейдут за роковую черту своих тридцати лет. Так на Руси и теперь еще есть люди, которые без ума от стихов Державина и которые косо смотрят на стихи Жуковского, видя в Жуковском *нового* писателя, хотя этот *новый* писатель пишет уже более сорока лет. Какая причина этому? Очень простая: они прочли и выучили наизусть стихи Державина в то время, когда их способность восприимлемости была в полной своей силе; когда же явился Жуковский, их душа уже закрылась для впечатлений: они уже не могли принять откровений новой поэзии всею полнотою своего существа. Идея и форма державинской поэзии до того овладели их умом, что для них поэзией казалось только то, что походило на стихи Державина. Но как произведения Жуковского нисколько не походило на оды Державина, то они и не смогли признать в Жуковском поэта. Таким

образом, им невозможно было без досады видеть, что другие восхищаются Жуковским, и на всех этих *других* они стали смотреть, как на людей с дурным вкусом, как на людей заблуждающихся, потому что самолюбие человеческое всегда готово оправдать себя насчет других и в собственной своей ограниченности растолковать себе, как чужую ошибку, чужое заблуждение. Ведь в самом деле, тяжело же сознаться, что мы отстали, что наше время прошло; и ведь не переучиваться же стать в почтенные лета... Кто не помнит, какой шум, какие споры, какую борьбу возбудило появление Пушкина! Старцы (и старые и молодые) с таким ожесточением оспаривали поэтическое достоинство первых произведений Пушкина, как будто бы дело шло о их жизни и смерти... И действительно, дело шло ни больше, ни меньше, как о их жизни и смерти — только нравственной, а не физической. Таких старичков теперь осталось мало, да и те приумолкли, а некоторые даже,

притерпевшись и привыкши к славе Пушкина, на слово поверили ее действительности. Но вот пример свежее: кому неизвестно, с каким ожесточением встретили старцы талант Гоголя? И до сих пор еще бранят они его, даже подражая ему, чтоб добиться какого-нибудь успеха, — и бранят его даже в тех самых своих изданиях, в которых так безуспешно подражают ему... И это ожесточение против — можно смело сказать — гениального писателя очень понятно. Все люди самолюбивы, но особенно люди, которые хотят казаться талантливыми там, где им всего более отказано в таланте, и преимущественно люди с мелкими способностями и дарованиями, которые когда-то воспользовались мгновенным успехом. Пережив свои сочинения, некогда имевшие какой-нибудь успех, видя, что их новые попытки возбуждают только смех, в отчаянии, что они не могут подделаться под писателя, увлекшего за собою всю литературу, всю публику, в досаде,

что они не могут даже понять ни смысла, ни достоинства его сочинений, эти горе-богатыри поневоле раздражаются против него и вступают с его славою в неравную для них борьбу. Они со слезами на глазах и с бранью на устах клянутся публике, что это писатель без таланта, без вкуса, что он не знает грамматики, тогда как они сами — первые грамотеи; что он рисует одну грязь, тогда как они изображают одну добродетель и благонамеренность, которыми преисполнены их сердца.<sup>1</sup> Но публика их не слушает, сочинений их не читает, а преследуемый ими автор как будто и не подозревает их существования, идя своею дорогою и не замечая их воплей. Что им делать? Не знаем, право, что они теперь делают или что будут делать; но вот уже давно, как слышим жалобы на то, что современные писатели, и преимущественно Гоголь, и современные журналы, преимущественно *толстые*, искажают и губят русский язык и что остается только

средство спасти его от гибели — начать подражать Карамзину, строго держась его слога и орфографии...<sup>2</sup> С особенным жаром приглашаются к этому молодые и подающие надежды писатели... Нужно ли говорить, что приглашающие давно уже не принадлежат к числу молодых и еще менее к числу писателей, подающих надежды?.. И это пишется и печатается в наше время!.. Подражать Карамзину в слоге, держаться его орфографии! Уж не лучше ли обратиться к Ломоносову и его избрать образцом? Что Карамзин справедливо назван преобразователем русского языка, русской прозы, что он оказал русской литературе такого рода услуги, которые никогда не забываются, — всё это аксиомы. Но в то же время нет никакого сомнения, что достоинство его сочинений теперь имеет чисто историческое значение, тогда как в свое время оно имело значение не только литературное, но и художественное. Теперь «Бедную Лизу» и «Марфу Посадницу» можно читать не для эстетического наслаждения, а как исторический памятник

литературы чуждой нам эпохи; теперь на них смотрят с тем же чувством, как смотрят на портреты дедушек и бабушек, наслаждаясь добродушным выражением их лиц и оригинальностью их старинного костюма... Пусть укажут нам старцы хоть на одну статью Карамзина, которая могла бы теперь возбудить другой интерес... Как же, спрашиваем мы, подражать произведениям, которые были безусловно хороши только для того времени, когда были писаны?.. Карамзин преобразовал русскую прозу, и в этом его великая заслуга, его великое право на признательность потомства; но сущность и заслуга его преобразования состояли совсем не в том, чтоб он дал вечные образцы прозы, а в том, что он дал возможность явившимся после него писателям опередить его на этом поприще, им же открытом. До Карамзина русская проза не переставала скрипеть тяжелыми ломоносовскими периодами;

Карамзин вывел ее из этого заколдованного круга на большую дорогу, и она пошла, уж больше не нуждаясь в его исключительном руководстве. От латинско–немецкой конструкции, столь несвойственной русскому языку, он обратил ее к французской конструкции, более ему свойственной, и чрез это дал средство — русскому языку, бывшему обезьяною то латинско–славяно–немецкого, то французского, сделаться со временем совершенно русским языком. Но язык самого Карамзина далеко не русский: он правилен, как всеобщая грамматика без исключений и особенностей, лишен руссизмов, или этих чисто русских оборотов, которые одни дают выражению и определенность, и силу, и живописность. Русский язык Карамзина относится к настоящему русскому языку, как латинский язык, на котором писали ученые средних веков — к латинскому языку, на котором писали Цицерон, Саллюстий, Гораций и Тацит: узнав в совершенстве первый, можно

совсем не знать второго; легко понимая первый, можно совсем не понимать второго. Язык мелких сочинений Карамзина, говорят, гораздо ниже языка, которым написана «История государства Российского» и который будто бы есть вечный образец русского языка, русского слога. Это едва ли справедливо. Если что особенно хорошо в истории Карамзина, это — изложение событий, умение рассказывать. Но слог этой истории какой-то академический, искусственный, лишенный естественности, тщательно округленный, обделанный, ритмический, певучий, с прилагательными после существительных. Карамзин употребляет часто слова летописей, старается проникнуть свой слог их духом, но остается при одном усилии. Нет спора, что всякий, кто хочет быть писателем, должен читать старых авторов для изучения отечественного языка; но утверждать, что он должен подражать кому-нибудь из писателей, особенно старых, — это верх нелепости. Мы не раз имели случай

изъявлять удивление, каким образом поэты нашего времени могли бы подражать Карамзину, который вовсе не был поэтом, хотя и писал стихи и сочинял довести? И какое из его произведений могли бы они взять себе за образец — «Бедную Лизу» или «Марфу Посадницу»?.. Хорошие образцы для нашего времени — нечего сказать! В таком случае, почему же не начать подражать «Россияде»? Интересно знать, какую бы поэму написал Лермонтов, если бы взял себе за образец «Россияду», какой бы роман написал он, если бы взял себе за образец «Кадма и Гармонию»?..<sup>1</sup> Давайте же подражать старым писателям, давайте жить задним умом, давайте ходить раковою манерою, — далеко уйдем!.. Подражать! Да разве можно и должно кому-нибудь подражать? Разве подражание произвело хоть одного порядочного писателя? Разве оно подкрепило чей-нибудь талант? Разве, напротив, оно не портило, не ослабляло и

действительно сильных талантов? Разве это не аксиома в наше время? Разве вопрос о подражательности не решен давным-давно? Разве советовать подражать не значит — подвергаться тому, что по-французски называется *ridicule*\* и для выражения чего нет равносильного русского слова?.. Подражать, значит — жить чужим умом, чужими мыслями, чужим талантом. Иметь нужду в подражании значит — не иметь нисколько таланта, при сильной охоте марать бумагу... Но зачем же наши старцы так настоятельно советуют подражать? Затем, чтоб никто не писал так, как пишет Гоголь... А! это другое дело! Вот как, например, хвалят они сочинения г. Масальского:

«Регентство Бирона», «Осада Углича», «Русский Икар», «Дон Кихот XIX века», «Стрельцы», «Черный ящик», «Граница 1616 года», «Бородолюбие», «Терпи, казак, атаман будешь» (повесть в стихах),

---

\* статья смешным (франц.). — Ред.

несколько мелких статей в прозе и несколько десятков стихотворений, заключающихся в этих пяти томах, написаны чистым, правильным языком, *вмещают в себе ум*, чувство и познание истории и представляют верные очерки эпох и характеров. У К. П. Масальского нет таких остроумных изречений, как, например: *сапоги всмятку* и т. п.<sup>1</sup>

И мы не можем не похвалить г. Масальского за то, что он не употребляет некоторых выражений, употребляемых Гоголем, — так же точно, как не можем не похвалить подражателей Корнеля и Расина за то, что они в своих трагедиях не выводили, подобно Шекспиру, ни публичных женщин, ни пьяных мужиков, ни развратников дурного тона вроде Фальстафа: на что мог осмеливаться великий Шекспир, за то не следовало браться мелким подражателям Корнеля и Расина, потому что у них непременно вышло бы пошло, отвратительно и бессмысленно то, что у Шекспира

живописно, поучительно и исполнено глубокого смысла! Но, по мнению наших критических *patres conscripti*,\*\* г. Масальский потому не употреблял выражений, употребляемых Гоголем, что «он (г. Масальский) в языке придерживается грамматики г. Греча, а в изящном вкусе не отступает от образцов, представленных нам Карамзиным, Жуковским, Пушкиным, Батюшковым».<sup>2</sup> Но тщетно стал бы кто-нибудь искать в сочинениях г. Масальского чего-нибудь, кроме твердого знания грамматики г. Греча! Сочинения Карамзина были хороши, даже превосходны для своего времени; сочинения г. Масальского не были бы не только превосходны, но просто сносны даже для того времени, в которое начал писать Карамзин, потому что в сочинениях Карамзина есть талант, отражается оригинальная и самобытная личность, чего нет и следов в сочинениях г. Масальского. Жуковский... но скажите, ради здравого смысла, может ли существовать

---

\*\* отцов сенаторов (латин.). — Ред.

какое–нибудь отношение между стихами переводчика «Иоанны д'Арк» Шиллера и «Шильонского узника» Байрона и между хоть вот этими виршами г. Масальского?

Осел широкой нивой  
В раздумье важно брел  
И вдруг свирель под ивой  
По случаю нашел.  
Любуясь находкой,  
Он стал ее лизать  
И на нее всей глоткой  
По случаю дышать.  
Осел не понимает,  
Что перелив, что трель;  
Лишь дышит и играет  
По случаю свирель.  
Как на осла бывает  
На всякого смешно,  
Кто сдуру поступает  
По случаю смешно.<sup>1</sup>

После этого мы можем себя уволить от всяких параллелей между г. Масальским и Батюшковым и особенно Пушкиным. Может быть, г. Масальский и подражал им; но тем не менее всё *их* осталось при них, а в сочинениях г. Масальского ничего не осталось. Что ж толку подражать? Кому нечего сказать своего, тому всего лучше молчать. Кто захочет послушать Пушкина, тот обратится к нему, а не к его подражателям. Как бы ни мал был чей-нибудь талант, но он стоит внимания, если не подражает, а говорит свое. И вот почему могло иметь большой успех такое произведение, как, например, «Юрий Милославский». В нем есть оригинальность; оно имело подражателей, но само никому не подражало. Впоследствии автор этого романа, г. Загоскин, стал подражать своему первому произведению, — и что же вышло? — все последующие романы г. Загоскина оказались ниже посредственности и не имели успеха. Вот каково подражать кому-нибудь, даже самому себе, — и чему-нибудь, даже

собственному своему сочинению... Г–н Масальский подражал не Карамзину, не Батюшкову, не Жуковскому, не Пушкину, а некоторым из русских романистов, явившихся в тридцатых годах настоящего столетия; но они ничего не дали его подражательным сочинениям — даже способности быть забавно неудачными, и потому эти сочинения скучно и усыпительно неудачны. Сочинитель берется изображать то эпоху Петра Великого, то регентства Бирона, то наше время, хочет быть высоким, патетическим, юмористическим, забавным, хочет трогать и смешить, — и только усыпляет...

19

Скажут: это ли разбор писателя, написавшего пять томов? Наговорить о старых и молодых поколениях, о Карамзине, о Гоголе — разве это значит критиковать сочинения, заглавие которых выставлено в начале статьи? Отвечаем на это: русская литература и русская публика

уже выросли и возмужали настолько, чтоб рецензент нашего времени мог уволить себя и своих читателей от серьезных доказательств, что скучная книга скучна, а бездарность бездарна. Лучше по поводу подобных сочинений поговорить о чем-нибудь таком, о чем стоит говорить. Удивительно ли, что в наше время, о чем бы ни стал писать рецензент, непременно начнет бранить или хвалить «Мертвые души»? Есть произведения, которые наполняют шумом своего появления целую эпоху, оставляя после себя глубокий и долгий след... И есть произведения, о которых нечего сказать даже и тогда, как заговорят о них, — которых нельзя ни бранить, ни хвалить... Мир вам, бедные дети беспокойной охоты к сочинительству, почивайте спокойно!..